

Леонид Бешин

ДЕНЬ СТАРОЙ ОДЕЖДЫ

«... тот, кто у себя дома в старом рваном пиджаке принимает вечность...»

Борис Поплавский

I

Есть у меня одна причуда. Я, собственно, весь соткан из причуд, их у меня множество, словно игральные карты в колоде, и каждая (не только оперные «Три карты! Три карты!») достойна внимания. Но одна из них — особенная, на редкость странная и даже эксцентричная. Во всяком случае, не все ее одобряют, а некоторые так и просто гнушаются мною из-за этой причуды.

Иного при виде ее так и режет, словно бритвой по глазам (не просто я упомянул эту самую бритву)...

Тем не менее я позволяю себе ее иметь, поскольку — закоренелый холостяк — живу один и потихоньку старею. По утрам нацеживаю настой маньчжурского гриба из банки с затянутым марлей горлышком, поливаю цветок, название которого уже и не помню.

И даже замечаю, что иногда разговариваю сам с собой.

Однако есть у меня работенка — не то чтобы репетиторствовать (хоть я и мог бы, поскольку друзья называют меня не иначе, как кладезь знаний), но обучать юные дарования... магии. Нет, нет, вы не подумайте: магии шахматной игры. Тут я мастак, граф Сен-Жермен (он-то наверняка выигрывал с седьмого хода). И стоит мне с шахматной доской под мышкой, погромыхивающей фигурами, выйти на бульвар, как все почитают за благо тихонько удалиться.

Удалиться, лишь бы избежать позора: сесть со мной за доску и проиграться вдрызг.

Чемпион бульваров, второй Капабланка или Алехин (если бы еще второй, а то ведь — двадцатый или тридцатый) — как себе не позволить иметь причуды. Их мне, может быть, и не хватает, и я себе в этом по-

творствую, даю поблажку: чуди, братец, чуди. Поблажкой же грех не воспользоваться, поскольку, увы, их не так уж много в нашей жизни, поблажек.

Вот я и пользуюсь: по первым и последним понедельникам месяца донашиваю старую одежду, скопившуюся у меня в гардеробе. Сам гардероб у меня тоже старый, разохшийся, со скрипучими дверцами и вечно застревающими выдвигаемыми ящиками (в детстве это было лучшее место, чтобы спрятаться от мамы, затаиться и до сладкого удушья надышаться нафталином). И висящая в нем одежда имеет вид заношенного тряпья.

Я бы отвез ее на дачу, как это принято в московских семьях (там всегда найдешь ватную телогрейку, фуражку без кокарды и резиновые сапоги), но дачи у меня нет: по суду оттяпали родственники. Хотел собрать мою старую одежку, уложить в тюки и выбросить на помойку, чтобы ее растащили бомжи, но мне стало жалко.

Жалко не столько ее самой, сколько частички (пылинки) моего прошлого, да и меня самого, каким я был пять–десять–двадцать лет назад.

Между тем, приглядевшись, я обнаружил, что не такое уж это все тряпье. Некоторые свитера, кофты, брюки, костюмы вполне пригодны к носке и даже способны бросить вызов моде, всегда склонной не столько изобрести что-то новое, сколько перетряхнуть старый гардероб.

И я решил: буду хотя бы два раза в месяц надевать и донашивать мою ветошь. Конечно, предварительно отдам ее заштопать, почистить, прогладить горячим утюгом (лучше всего чугунным) — словом, привести в божеский вид.

Я немедленно этим занялся. Мне даже стало интересно, поскольку я смутно чувствовал, что старые одежды на нас неким образом влияют. Не просто придают что-то походке, жестам, манерам (заставляют в знак приветствия кланяться и приподнимать над головой шляпу), но таинственно воздействуют на нашу жизнь, открывают ее сокровенные тайны и меняют судьбу.

Словом, мне тоже захотелось выиграть с седьмого хода, захотелось воспарить, вознестись, взлететь...

II

На дворе стоял август, по утрам дождливый, облачный (тоска собачья), но ближе к вечеру — солнечный, с закатным заревом у горизонта, похожим на остывающую жаровню, и фиалковыми лоскутами неба.

В мой самый первый понедельник меня потянуло в нотный магазин, где я особенно часто и охотно бывал раньше, отдаваясь усладе завязтого меломана, и куда и теперь иногда заглядывал.

Заглядывал, хотя и без прежней охоты, а скорее так, по привычке.

Тут следует уточнить (и не без горького сожаления): *тот* магазин теперь торговал сантехникой — раковинами, бачкам и унитазами, а от нотного остался лишь жалкий прилавок, втиснутый между штабелями коробок и ящиков.

Там, словно у древнего алтаря, священнодействовал сухонький, сторбленный старичок, носивший потертую ермолку, гордившийся своими длинными, посеребрёнными сединой пейсами, засохшей розой в петлице и музыкальной фамилией — Малер. Но я все равно считал его прилавок если и не алтарем, то, во всяком случае, *магазином* и расписной потолок (парящие музы с лирами в руках), остатки лепнины, колонны, увитые гирляндами, относил к нему, не признавая никакого права на них новых владельцев.

Я благоговейно брал в руки и перелистывал партитуры Моцарта, Бетховена и Чайковского, сохранившие запах нотной печати (поскольку их никто, кроме меня не перелистывал). Все прочее же старался не замечать и с презрением отворачивался от ненавистных уродов — фаянсовых бачков и унитазов.

Вот и сейчас я, не глядя по сторонам, пробрался к моему прилавку. Я поздоровался со старичком Малером (а заодно — с Моцартом, Бетховеном, Чайковским и музами на потолке, приветствовавшими меня звуками лиры) и купил ноты «Благородных и сентиментальных вальсов» Равеля. В другой день недели я наверняка не стал бы их покупать, но в этот день — День старой одежды, — не мог не купить, поскольку... впрочем, чтобы это объяснить, следует начать издалека, с тех времен, когда мне только исполнилось четырнадцать лет.

С врученной мне наградой — книгой «Дети капитана Гранта» (за отличную учебу и примерное поведение), я перешел в седьмой класс. Родители были рады моим успехам, но при этом решили, что школьных

занятий для меня явно недостаточно. По их мнению, я справляюсь с ними легко, и у меня остается слишком много свободного времени.

Свободное же время, как и всякая форма свободы, в те годы считалось чем-то опасным, таящим некую угрозу, вызывающим подозрения. Сами они боялись свободного времени, поскольку не знали, что с ним делать (нашинковать и заквасить, как капусту, засолить, как огурцы, или пустить на моченые яблоки). И их преследовало смутное беспокойство, оттого что я, успевавший по всем предметам гораздо лучше, чем когда-то они, и в этом знании могу их опередить.

Поэтому у родителей возникла мысль, превратившаяся в стойкое убеждение (истинная убежденность тогда приравнивалась к подвигу), что меня надо дополнительно чему-то учить.

Учить, чтобы я зря не слонялся по двору, не лазал по чердакам и подвалам и не водился со всякой шпаной. Я пытался возразить, что чердаки и подвалы меня не влекут и со шпаной я и не думал водиться, поскольку настоящая шпана не каждого примет.

Но родители, напуганные всякими дурными примерами, меня не слушали. Для моего обучения они, хорошенько подумав и посоветовавшись со знающими людьми (самыми знающими были наши соседи по коммунальной квартире — те, у кого был телевизор), выбрали музыку. Это казалось занятием особым, привилегированным (в отличие от шахмат, по своему дворовому статусу занимавшими место рядом с домино), а они всегда мечтали о привилегиях.

Но жизнь их этим не баловала, и мои родители надеялись: уж если не они, то хотя бы я...

Прежде всего они спросили меня, на каком инструменте я хотел бы играть. Я с уверенностью назвал баян. Мне казалось, что учиться музыке стоит лишь для того, чтобы играть в гостях или, как тогда говорилось, в *компаниях*. В гости же рояль или арфу не потащишь (да и смешно было бы тащить), а вот баян — в самый раз, пожалуйста.

Поэтому я упорно стоял за баян и ни на что прочее (остальные инструменты были для меня именно прочими) не соглашался.

Но однажды передо мной раскрылись волшебные свойства другого инструмента, стоявшего у одной из нашей соседок, сестер Алябьевых — Тамары Аркадьевны и Катерины Аркадьевны. Сухопарые, высокие, надменные, они носили длинные халаты, расшитые павлинами, курили папиросы и по утрам кропотливо пили кофе (вся наша квартира, в отличие от них, глушила чай). Телевизора у них не было, но

зато в углу маленькой комнатушки стояло пианино, называемое ими почему-то роялем.

Сами они на нем почти не играли, но им очень хотелось, чтобы я им что-нибудь сыграл. Я сказал, что не умею, поскольку меня не учили. Но они не спешили со мной согласиться и ответили мне внушительным, упреждающим жестом, словно у них на этот счет было что-то припасено: мол, не спеши со своим неумением...

Они усадили меня на венский стул, стоявший перед *роялем*. Но им что-то не понравилось, они попросили меня привстать, подложили подушечку и какую-то толстую книгу и снова усадили. Затем взяли за меня педаль и показали, какие клавиши нажимать: «Черную... черную... белую. Черную... черную... белую».

Я не знал, зачем это нужно, но послушался (все-таки я был в гостях) и стал нажимать, как показано. И вдруг из-под моих пальцев полились дивные звуки — «Лунная соната». Не чьих-нибудь пальцев, а — моих, со ссадинами, царапинами, сломанными ногтями: для меня это стало таким невероятным потрясением, что я забыл про баян и отныне заболел роялем.

III

Разумеется, обучение мне хотелось сразу начать с «Лунной сонаты». Но Тамара Аркадьевна, ставшая моей первой наставницей, затягиваясь папиросой, небрежно сказала, что там очень трудная третья часть (на этих словах она выпустила розовое колечко дыма) — мне не совладать (выпустила подряд два колечка). И усадила меня за этюды Черни, сонатины Клементи и прочий педагогический вздор, призванный подготовить неискушенного новичка, каким был я, к исполнению венских классиков.

Сколько времени уйдет на подготовку (такой вопрос я задал Тамаре Аркадьевне)? Она надменно уклонилась от ответа и лишь произнесла: «Милый, ты же поздно начал — в четырнадцать лет. Поэтому что нам с тобой время. Сколько уйдет — столько уйдет». Но, судя по ее лицу, на котором ответ все же угадывался — таился в глазах и уголках губ, — это была вечность. Мне уже казалось, что последний этюд Черни (а он написал их несметное множество) я доучу на смертном одре. И маэстро, тронутый моим прилежанием, сам закроет мне глаза, уронив слезу на свои кружевные манжеты.

Меня охватило беспросветное уныние, и я пожалел — раскаялся в том, что по глупости отказался от баяна.

Единственным спасением для меня был тот самый нотный магазин, куда я зачастил и где стал пропадать — во всех смыслах этого слова. Да, я пропадал там часами, и я — пропадал. Пропадал, как юноши моего возраста пропадают, связавшись с девицами из подпольного оазиса свободной любви, или попросту борделя, куда сносят все добытые правдами и неправдами деньги (у нас в школе старшеклассники со знанием дела поговаривали о таком борделе). Я же этой участи сумел избежать, но все деньги, вместо борделя и школьного буфета (дома готовили обед лишь по воскресеньям), тратил на ноты и поэтому, к ужасу родителей, худел, бледнел, становился как спичка.

Этой спичкой, по их словам, оставалось лишь чиркнуть о коробок, чтобы она вспыхнула, обуглилась и сгорела, изошла синеватым дымком.

Бедные родители не догадывались о причине моей худобы, о том, что в моем заветном магазине я на полученные от них деньги с упоением скупал ноты, причем не какие-нибудь простенькие, а — сложнейших произведений. Это был уже не жалкий педагогический, а настоящий концертный репертуар. Сыграть по ним я, конечно, не мог, но мне ничто не мешало поставить их на пюпитр и попытаться разобрать — осилить хотя бы несколько тактов. Всего несколько, но этого было достаточно, чтобы во мне ожили и запылали самые разгоряченные мечты, мечтам же иногда доступно то, чего не могут пальцы.

При этом мне казалось, что по ту сторону пюпитра, из некоего зазеркалья (пианино блестело лаком, как зеркало) на меня наплывает сотканное из воздуха, из тончайших эфирных нитей сумрачное лицо композитора: Моцарта, Бетховена, Шуберта. И его рука, сжимающая гусиное перо, тянется к обратной стороне нотного листа и *оттуда* выписывает те самые половинки, четвертинки, восьмые и шестнадцатые, которые я с мучительным старанием извлекаю — выковыриваю из клавиатуры.

Так на моем пюпитре оказались и вальсы Равеля. Я попытался разучить несколько тактов и вдруг почувствовал непреодолимое желание сыграть их целиком, от начала до конца, настолько необыкновенное, завораживающее воздействие они на меня оказывали. Мне показалось, что это лучшая музыка, какую я когда-либо слышал, и не просто музыка, а выраженная в звуках тайна обо мне самом. Тайна, которую

я никогда не открыл бы другим, но автор ее неким образом угадал, подслушал и воплотил на бумаге.

Теперь я готов был целыми днями играть и Черни, и Клементи, лишь бы поскорее добраться до Равеля. Но, как я ни старался, как ни мучился, просиживая целыми днями за пианино (родители купили мне собственное), вальсы у меня получались не благородными, не сентиментальными, а — просто никакими. Черни оставался Черни, а Равель — Равелем, и от отчаяния я их забросил, эти недоступные для меня вальсы, а вскоре и купленные мною ноты исчезли с пюпитра и где-то затерялись.

IV

И вот в понедельник (мой первый День старой одежды) я снова купил их, эти ноты «Благородных и сентиментальных вальсов». Я бережно раскрыл их, поставил на пюпитр и, как все пианисты, собирающиеся играть с листа, разгладил ладонями страницы, умиряя их волнообразный выгиб. Разгладил и вдруг заметил, что они на моих глазах странно суживаются до размеров маленького оконца, причудливо свертываются и уходят некоей проекцией в неведомое пространство по ту сторону пюпитра.

Я невольно протянул туда же руку, но рука моя в это пространство не попадала: ее что-то выталкивало, словно мяч из воды. «Что за чудеса! Что за фокусы!» — воскликнул я удивленно, и вдруг понял, что это пространство не имеет физических измерений и доступно лишь некоему умственному — волевому — усилию. Я невольно приподнял над головой мою старую шляпу и вытер ладонью лоб...

И тотчас оттуда, из зазеркалья моего пианино, до меня донесся глуховатый, слегка надтреснутый голос. Я никогда его раньше не слышал, но мог поклясться, что это голос самого Мориса Равеля:

— Ну что, старина, ты все-таки хочешь одолеть мои вальсы. Дерзай, приятель. Теперь у тебя все получится.

Я не без страха (суеверного ужаса) вступил в разговор, но все-таки постарался, чтобы мой голос не слишком дрожал:

— Почему вы так считаете? Я в этом не уверен. В музыке я жалкий дилетант-недоучка. Да и играю всего по часу в день, пока соседей нет дома. К тому же я поздно начал.

Он помолчал, чтобы возразить мне не сразу, а лишь после того, как возникнет обманчивая уверенность, будто он со мной согласился.

— Это не столь уж важно, дружище. Я играю ненамного лучше тебя, а с этими вальсами неплохо справляюсь. Я даже записал их на пластинку. Можешь послушать. Мне за себя не стыдно.

— Послушаю, спасибо. А если быть дилетантом не важно, то что же, в конце концов, важно?

Он снова ответил не сразу, словно на этот раз ему нужно было убедиться, что я его верно пойму и от меня не ускользнут некие существенные оттенки смысла, которые ему хотелось до меня донести.

— Важно то, что мы оба с тобой благородные и сентиментальные чудачки. Нам эти вальсы, собственно, и предназначены. Открою тебе секрет. Может быть, даже страшную тайну.— Он понизил голос, словно собираясь пугать детей, но при этом имея в виду скорее взрослых.— Я писал их для себя самого и — для тебя.

— Когда вы их писали, меня и на свете не было.

— Ах, милый мой, это не значит, что тебя не было вообще. Ты был, но в ином пространстве — так же, как и я сейчас. Меня рядом с тобой нет, но мы разговариваем. Кроме того, протяни руку за пюпитр, и я отсюда, из зазеркалья, пожму ее. Ну, смелее...

Я не без робости снова протянул руку и... почувствовал пожатие его руки.

— О, маэстро!

— Видишь, моя рука не холодная, не ледяная, как у мертвецов. Значит, я не мертвец, а живой. Вот и ты был живым, когда я писал эти вальсы. Вернее, не ты, а твоя душа, души же у нас с тобой, похоже, родственные, хотя я француз, а ты — русский.

— Вы полагаете?

— Я в этом уверен. Мы оба ненавидим пошлость, расплывшуюся за последнее время и у нас, и у вас, хотя вы и Третий Рим... гм... простите меня за шутку.

— Почему же? Для нас это не шутка. Мы по-прежнему считаем себя Третьим Римом.

— Ну, и исполать, как говорится. Считайте, кем вам угодно... Нам же не убудет с того, что мы — Пятая Республика. А я с вашего позволения продолжу. Мы с вами придерживаемся старомодных понятий о чести, о служении высшим идеалам, о рыцарском поклонении даме. Ну, и мало ли что еще нас сближает... К примеру, костюм. Мы с вами

одинаково старомодно одеваемся, предпочитаем сдержанные тона. И до зеркального блеска начищаем ботинки.

— Допустим, но я все же о другом. По части поклонения дамам все-таки вы как француз впереди. Мне же в любви всю жизнь отчаянно не везло. Это даже скверно, отвратительно, как мне не везло. Плюнуть хочется, если вдруг вспомню.

Тут он стал сухо покашливать, посапывать, издавать фыркающие звуки, явно закипая гневом.

— А кому везло?! — в гневе воскликнул он тонким голосом, почти фальцетом, вибрирующим на верхних нотах. — Кому, я вас спрашиваю?! Одинокому и глухому Бетховену, имевшему несчастье влюбиться в эту кокетку и пустышку Джульетту Гвиччарди?! Шуберту, привязанному однополой любовью к своему близкому другу и умершему если не от сифилиса, то от брюшного тифа?! Брамсу, изнемогавшему от любви к Кларе Вик, когда ее муж и его учитель Роберт Шуман сидел в сумасшедшем доме?! Прокофьеву, которого развели с женой-иностранкой и вынудили жениться на комсомольской активистке и патриотке?!

Я возразил, стараясь не терять учтивости и любезности:

— Слишком много примеров, и все равно мой для меня, уж вы простите — единственный. Я вынужден признать, что семейная жизнь у меня, увы, не сложилась. Меня любила лишь одна моя собака.

— Ах, как вы, русские, умеете себя жалеть, — ворчливо заметил он. — Бросьте. Ваша бывшая жена и сейчас вас любит и готова к вам вернуться. Впрочем, я бы этого не хотел. Это отвлечет вас от главного.

— Что же для меня главное?

— Музыка, — ответил он с недоумением, означавшим, что другого ответа быть не может. — Вам, сударь, еще надо многое выучить и сыграть. Отчитаться перед вечностью, так сказать.

— О, вечность! И мне с моими корявыми, негнущимися пальцами перед ней отчитываться?

— Да, вам с вашими пальцами. Недаром вы сегодня так торжественно оделись. Как на праздник. Поэтому прежде всего будьте любезны выучить *наши* вальсы. — Он выделил голосом особо значимое слово. — Затем, пожалуйста, мою «Лодку в океане». Затем что-нибудь Дебюсси... только не «Остров радости»: это весьма двусмысленная пьеса. Что они там выделывают, на этом острове, хотел бы я знать. Впрочем, извините, за шутку, не подобающую французам. Ну, а остальное на ваше усмотрение... Чайковский, Рахманинов, гениальный

и божественный Скрябин. И, ради Всевышнего, бросьте эту скверную привычку разговаривать с самим собой. Тоже мне старик нашелся. В вашем-то возрасте... Лучше с Богом разговаривайте, как Бетховен. Хотя это не каждому дано, но вы сможете...

— С Богом? Никогда не пробовал, но... попробую, раз вы советуете. Вы же для меня в музыке почти, как бог.

— Ну, это лишнее. — Он счел нужным показать, что ему не чужда скромность. — А так все правильно. Молодцом. За работу, дружище! Дерзайте!

Голос оборвался, и я почувствовал себя так, словно очнулся после обморочного сна. «Что же это было?» — спросил я себя вслух и вдруг вспомнил свое обещание расстаться с дурной привычкой. «Что это было?» — повторил я уже не вслух, а про себя, и этот по-новому заданный вопрос стал для меня ответом.

V

Смеркалось; углы моей комнаты затягивало полупрозрачным сиреневым сумраком, а в коридоре было совсем темно. Но я люблю такое время, когда еще можно не зажигать унылый электрический свет. Вот только малиновый шар солнца совсем опустится за горизонт, придется включить настольную лампу, а пока... сумерки скрадывают привычные очертания предметов, лишают их плотности, вещественности, придают им что-то зыбкое, призрачное, нездешнее.

Страшновато. Того и гляди прошмыгнет домовой в заштопанных полосатых штанах на подтяжках; леший, желая полакомиться сладеньким, потянется кошачьей лапой к сахарнице, приподнимет крышку и схватит целую горсть; болотная кикимора (у нас тут неподалеку пруды и лесные топи) обчихает, обморкает все углы, повсюду развесит сушиться свое тряпье.

Впрочем, это мои фантазии. Даже после разговора с Равелем я не верю в сверхъестественное. Для меня достаточно естественных причин, чтобы объяснить происхождение любого якобы чудесного явления, и самая веская из них — воображение.

Уж оно-то вам преподнесет любое чудо.

Вот, скажем, шевельнулось, двинулось что-то в сумрачном углу моей комнаты, и мне уже кажется...

— Сынок, ты опять от меня спрятался. А ну-ка выходи. Там же душно, в этом гардеробе, и пахнет нафталином. У тебя может заболеть голова. Ты очень чувствителен к запахам...

Нет, не кажется, а я вижу — вижу воочию, как от стены отделилась призрачная фигура моей умершей матери, неслышными шагами прошла по комнате, простирая руки перед собой, и постучала в дверцу гардероба. Пришлось и мне протянуть руку и скрипнуть дверцей, как будто я и впрямь выбрался из гардероба, где уже устал сидеть, дожидаясь ее прихода.

— Вот я, мама.

— Ты всегда был умницей. Ну, расскажи, как ты тут без меня?

— У меня все хорошо. Видишь, живу по-прежнему в нашей квартире. Меня недавно подлечили в больнице — почти даром. Я по-прежнему бережлив, экономен, вот донашиваю старую одежду.

— А мои платья выбросил?

— Нет, они висят на прежнем месте.

— Не выбрасывай, пожалуйста. Ах, как бы я хотела их надеть! Особенно мое синее в белый горошек. Мне оно так шло. Оно такое красивое и к тому же... немного волшебное. — Мать решила упомянуть о том, о чем могла бы не упоминать, но не сдержалась и готова была упрекнуть себя за это.

— Что же в нем волшебного? — Я позволил себе лишь слегка улыбнуться, показывая, что она может верить в любое волшебство, наделять этим свойством любую вещь и все равно останется моей любимой матерью.

Она так же улыбнулась моему неверию, простительному для ее любимого сына.

— Вы здесь этого не понимаете, и я, к сожалению, не смогу тебе объяснить. Но в каждом из платьев — душа, как вообще в старых одеждах.

— Выдумщица ты моя. Ну, а ты как?.. Чуть было не сказал: поживаешь. Но, наверное, это не уместно.

— Вполне уместно. Я хорошо устроена. Мне выделили комнату, тихую, уютную, как в доме престарелых. На подоконнике — мои любимые цветы. Но что ж ты не едешь ко мне на могилку? Там оградка покосилась, и все репейником заросло.

Я только и мог ей ответить:

— Прости, пожалуйста. Очень много дел.

— Да какие тут у вас дела. Вот у нас ходят слухи, что скоро... суд.

Чтобы попусту не думать, о каком суде идет речь, я счел за лучшее принять сказанное на свой счет.

— Мама, суд уже был. И по суду дачу у меня отняли. Я не смог ничего доказать. Я не член дачного кооператива, а то, что я вложил такие деньги в ее постройку и прожил там всю жизнь, никого не волнует.

— Сочувствую, милый, но я про другое. Скоро Страшный суд.

— Не думаю, чтобы он был страшнее наших судов.

— Ах, не говори так. Грех.

— Бог простит, если, конечно, Он есть.

— А ты сомневаешься? — спросила мать так, словно следующим шагом после признания моих сомнений могла быть лишь готовность расписаться в собственной глупости.

— Как я могу судить о том, чего не видел? — Я воздержался от следующего шага и ответил вопросом на вопрос.

— А музыка? Ведь ее ты тоже не видишь...

— Но я слышу.— Я пожал плечами в знак своей невольной способности слышать.

— А Бога разве ты не слышишь?

— Мамочка, слушать музыку и слышать Бога — разные вещи.

— Одинаковые.

— Какая ты у меня заядлая спорщица. Хорошо, но ведь музыка бывает и демонической...

— Никогда!

— Почему же тогда некоторые знатоки и любители избегают слушать, скажем, Девятую сонату Скрябина, называя ее черной мессой?

— Потому что они глупцы. Черная месса — это умц... умц... умц. Электрогитара, ударные и микрофон. Иными словами, все примитивное, серое, скучное, бездарное. Сонаты же Скрябина в творческом отношении гениальны.

— Равель назвал их божественными.

— Вот! Вот именно! И он прав.— Мать оживилась, обнаружив свидетельство своей правоты в словах Равеля и моих словах.

— Что ж, спасибо за лекцию. Ты утерла мне нос. И по заслугам. Так мне и надо.

— Неужели обиделся? Вот уж зря... Это не мои мысли. Лекции по воскресеньям нам читает один из ангелов нижнего чина. Впрочем, извини, мне пора. Мне позволили быть с тобой совсем недолго.— Мать поцеловала меня в лоб и, не поворачиваясь ко мне спиной, стала не-

слышными шагами удаляться в глубину комнаты. — Исчезаю и даю тебе повод счесть мое появление всего лишь плодом твоего воображения. Разреши я сама зажгу тебе свет.

Мать напоследок тронула выключатель. Вспыхнули сразу две лампы в светильнике, замигали, погасли и снова вспыхнули.

Но ее уже не было.

VI

В последний понедельник августа я встретил мою бывшую жену. Впрочем, бывших жен не бывает, поэтому скажем так: я встретил жену моей юности (я женился в двадцать один год).

Мы с ней живем по разные стороны от Измайловского парка, где оба часто прохаживаемся, прогуливаемся — словом, совершаем моцион. Никто из нас не хочет уступать эти владения другому и отказываться от прогулок, тем более осенью, когда дождливая игольчатая хмарь висит над прудами и ветер морщинит воду, кружа плавающие кораблями сухие, вскоробившиеся листья.

Над облаками сквозит синева, а под ними горизонт то затягивает оловянной пеленой, то пронизывает солнцем, громады сизых туч распадаются, словно столбцы подтаявшего сахара, и лазурное сияние нисходит небесным светом, похожее на благодать.

Жаль пропускать такие дни, хотя и велик риск нам с женой пересечься, столкнуться где-нибудь на тропинке. Но мы все же стараемся не попадаться друг дружке на глаза, а уж если попадаемся, то делаем вид, что друг дружку не замечаем. Особенно это удается жене, непридуманной притворщице, и я не осуждаю ее за это.

Не осуждаю, поскольку и сам принимаю соответствующий рассеянно-отстраненный вид и прячу глаза, чтобы случайно не взглянуть в ее сторону.

Такой уж я друг и такая у меня дружка...

Жена сидела на скамейке в парке с такой смиренной озабоченностью, словно ей давно уже надо было встать, но так не хотелось, что после каждой попытки хотя бы слегка приподняться, она сдавалась и позволяла себе еще минутку-другую безмятежной лени. Она была в наушниках, что меня очень удивило и позабавило. Никогда раньше я не замечал в ней легкомысленного желания уподобиться моло-

деньким дурочкам, опутанным проводами и убежденным, что таким образом они слушают музыку.

Я сел рядом, на затененный край скамейки (жена принимала последний осенний загар). Немного подождал и кашлянул, чтобы привлечь ее внимание, внушить, что я не случайный прохожий, а бывший супруг.

Супруг ее юности.

— Мое почтение.

Когда жена обернулась, я привычным жестом приподнял над головой шляпу.

— Боже, как ты выглядишь! — воскликнула она, оглядывая меня сверху донизу. — Стал такой импозантный. Даже помолодел. Вижу, что занимаешься своим гардеробом. Раньше я за тобой такого не замечала.

— Я тоже не замечал за тобой... — Я отвернулся, чтобы не задерживать взгляд на ее наушниках.

— Ах, это! Почему бы нет? Я же не с нечистой силой якшаюсь, а слушаю музыку.

— Не музыку, а умц... умц... умц.

— Ладно, не придирайся. — Жена все же сняла наушники. — Ну, расскажи... Снова женился? Кто она? Модель? Оперная дива? Порно звезда, наконец?

— Кассирша в магазине.

— Ты как-то невесело шутишь.

— Могу для веселья добавить, что с некоторых пор я интересуюсь только продавщиц и кассирш. Получаю от них знаки внимания, высушиваю и клеиваю в особую тетрадь.

— А твой костюм?

— Ты хочешь спросить, ради кого я так вырядился? Так это же все обноски, дорогая. Вспомни, эту кожаную куртку ты мне когда-то и подарила на сорокалетие.

— Ах, боже мой! Ты еще называл ее летчицкой и обещал, что станешь в ней парить над облаками. Вот видишь, как я тебя понимала. А ты не ценил, отсталый человек.

— Теперь ценю, — сказал я ей в угоду, хотя и не замечал за собой ни малейших признаков того, что я стал ценить ее понимание. — Ну, а ты как? — Я посмотрел на нее слишком пристально для вопроса, заданного лишь для того, чтобы поддержать разговор.

Она ответила мне таким же пристальным взглядом и произнесла то, что менее всего ему соответствовало:

— Я стала зимовщицей.
— Во льдах?
— Нет, на даче. Просто живу там всю зиму.
— Это, знаешь ли, не так-то просто. На это должны быть причины.
— Они есть, хотя это вряд ли тебе интересно.
— Обижает. Ведь и я когда-то тебя понимал. Да и сейчас понимаю, — добавил я не слишком искренне, чтобы не давать жене повод обольщаться и ценить мое понимание так, чтобы оно ей польстило. — Так какие же причины?

— Я одна. И хочу быть одной. А на даче для этого есть все условия. Могу заниматься гороскопами, магией, левитацией.

— Чем-чем?

— Или я что-то пугаю... Словом, чем-то таким... ну, ты понимаешь. Особенно когда в трубе воет ветер, невидимкою луна освещает снег летучий...

— Мутно небо, ночь мутна. Неужели ты полюбила Александра Сергеевича?

— Я всегда его любила. Еще со школы. Но я не об этом... — Жена смутилась и слегка покраснела, словно школьница. — Не знаю, как ты отнесешься к моей просьбе, но все-таки рискну.

— Давай, рискуй.

— Собственно, это пустяк — не надо придавать особого значения...

— Говори, говори. Обещаю выполнить любую просьбу.

— Правда? Только не сомневайся, а то ничего не получится.

— Господи, что ж это такое? Ты меня заинтриговала.

— И интриги здесь нет никакой. Все эти глупости, суеверия и пред-
рассудки разом отпадают. Только ответ мне сразу, согласен ты или не согласен.

— На что именно?

Жена опустила глаза.

— Давай летаем. Только сразу... сразу... ответь.

— Давай, — сказал я, не успев толком уразуметь, взять в толк, что мне предлагают и с чем я соглашаюсь.

Тогда жена взмахнула руками, словно дирижер, поднимающий оркестр в ответ на овации публики. При этом она загадочно и призывно взглянула на меня, явно поощряя повторить за ней ее жест. Я тоже взмахнул, подражая жене во всем из одного только равнодушного недоумения, вызванного ее нелепыми жестами и загадочными призывами: а почему бы нет, если уж ей так хочется?

И тут мы оба с чудесной легкостью оторвались от земли и повисли в воздухе на высоте двух-трех метров. Осваиваясь со своим новым положением, я невольно оглядывал свои руки и ноги, словно проверяя, все ли на месте.

— Ну, как? Не жалеешь, что согласился? — закричала мне жена (от высоты с непривычки закладывало уши).

Вместо ответа я закрыл себе ладонью рот, чтобы тоже не закричать от удивления и восторга, и замотал головой, что означало, наверное: нет, не жалею.

Затем мы стремительно поднялись в голубое, прозрачное небо с плавающими осенними паутинками и мелкими иголками дождя, высыхающими, не достигнув земли. Мы оба одновременно заплакали и засмеялись от счастья.

Засмеялись и — блаженно раскинув руки — полетели.

VII

Земля, верхушки деревьев, скамейки Измайловского парка, пруды, дорожки с велосипедистами (во вращающихся спицах проскакивала змейкой золотистая радуга) разом оказались где-то внизу, отделились и уменьшились, словно в перевернутом бинокле. Облака же, наоборот, неправдоподобно увеличились, приблизились, и солнце засияло ярче, ослепило, и на минуту перед глазами возникла нездешняя белизна.

В воздухе по-прежнему плавали осенние паутинки, налипая на лицо. Полы наших одежд захлопали на ветру, как флаги. С меня сорвало шляпу и куда-то унесло. Остатки волос на голове встали дыбом. Ветер засвистел у меня в ушах, чем-то влажным забило дыхание, и я чуть не задохнулся, закашлялся, стал рвать на себе ворот рубахи и ртом судорожно хватать воздух.

— Это сейчас пройдет. Повернись ко мне лицом. Ну вот... Тебе хорошо? — спросила жена, не выпуская моей руки и делая вид, будто это я держу ее за руку. — И не страшно? — Глядя мне в глаза, она приготовила шуточный упрек на тот случай, если я признаюсь, что испугался.

— Немного непривычно. — Я старался не смотреть вниз и улыбаться. — Все-таки я раньше никогда не летал. — Мне стало досадно, что я оправдываюсь. А затем стало еще досаднее из-за моей досады.

— Скоро привыкнешь. Мне тоже пришлось привыкать, хотя у меня отец был летчик-испытатель, вся грудь в орденах, ты же помнишь. Между прочим, твои старые одежды, и особенно кожаная куртка, подаренная мною, удивительно приспособлены для того, чтобы летать. В этом их нераспознанные свойства, приобретаемые со временем. Да и сам ты — отчаянно смелый, я тобой горжусь. — Жена прикрыла мне маленькой ладонью рот, чтобы не услышать от меня банального отказа признавать свои достоинства. — Смотри, там внизу наша Яуза, Лефортово, где мы студентами пили портвейн прямо из горлышка, вместе с крошками от пробки, закусывали какой-то дрянью, и было так вкусно.

— Было восхитительно.

— Ну, уж не преувеличивай. Ты любишь преувеличивать. — Жена пыталась поправить разметавшиеся от ветра пряди волос. — А вот высотный дом, где мы катались на скоростном лифте — вверх и вниз, только циферки проскакивали в оконцах. И когда кабина падала в бездну, ты мне однажды признался. Только не спрашивай, в чем.

— В чем?

— Кажется, в неземной любви.

— По-моему, я признался тебе в любви на Ваганьковском кладбище, когда хоронили мою бабушку Елизавету. Шел мокрый снег, на дне могилы скопилась лужица, и было так грустно...

— Это уже во второй раз. А в первый раз ты признался от восторга падения. А после мы поднялись на самый верхний этаж высотного дома, и там такое круглое окно, из которого видна вся Москва.

— Жаль, что мы тогда не летали.

— Да мы вообще не летали, поскольку не догадывались о нераспознанных свойствах вещей. Скоростной лифт — не в счет. Все его свойства распознаны. Зато теперь...

— Как ты хорошо это придумала.

— Я ничего не придумывала. Помнишь, у Льва Николаевича Наташа на балконе говорит, что надо обхватить себя за колени, поднатужиться и — полетишь. Как мы сейчас.

— А мы не упадем?

— Видишь, ты засомневался...

— Кажется, я падаю. — Я почувствовал, что воздушные потоки подо мной перестают быть мне опорой и я сползаю с них, как рыхлое ватное одеяло с кровати. — Держи меня.

— Ничего ты не падаешь. — Жена на всякий случай меня поддержала. — Не смей так думать. И измени направление мыслей. Куда бы ты хотел слетать? Пользуйся случаем — выбирай. В Париж? В Италию? В Гималаи?

— Я бы хотел в Иерусалим.

— Не важничай. Зачем тебе? Ведь ты у меня законченный *афей*, ни во что не веришь. К тому же в Иерусалим летают, оседлав черта или ведьму, а это давно уже устарело, стало пережитком. Я придерживаюсь более совершенных и современных методов.

— Каких же? Умц... умц... умц?

— Дались же они тебе, эти умц! Никак не успокоишься. Нет, мой главный метод, позволяющий мне летать, — это любовь. Я им хорошо владею. Да и метлы у меня, как видишь, нет. Вернее, есть на даче, за сараем. Так что я перед тобой чиста, словно ангел.

— Тогда — в Калифорнию к нашему сыну, — сказал я, с облегчением услышав от жены ее признание и сочтя для себя нужным при удобном случае тоже признаться, что некие упомянутые ею методы (например, любовь) мне не совсем чужды.

VIII

Наш сын Варфоломей учился так же хорошо, как и я, но наша похожесть лишь подчеркивала роковое различие меж нами: сыну доставались одни несчастья там, где мне удавалось быть счастливым. Поэтому жена предпочла бы, чтобы Варфоломей не был на меня похож и даже учился намного хуже, лишь бы это избавило его от несчастий. Но успехи, схожие с моими, казались ей причиной всех бед, словно я невольно отбирал у сына то, что по праву принадлежало только ему и отчасти ей, раз уж она как мать ему все-таки ближе, чем отец.

Об успехах нашего сына неустанно твердили наши друзья и знакомые. Твердили особенно охотно за столом и под рюмку, когда жена вносила на блюде заливное (сквозь подрагивающее желе смутно проступала украшенная лимоном и петрушкой спинка судака), разливала по тарелкам золотистый от жира бульон, почему называвшийся у нас бухарским, и раскладывала свой фирменный салат из тертой редьки с жареным луком.

Вот тогда-то все считали нужным отметить успехи: жены — в домашней готовке и умении накрыть к празднику стол (с этого всегда начинали), а Варфоломея — в школьных премудростях и науках, благодаря чему мы, как правило, подписывали ему дневник не глядя.

Гости не забывали упомянуть и мои любимые шахматы, и по застольной логике получалось, что сын все-таки во всем на меня похож: «Унаследовал отцовские дарования. Далеко пойдет. Нам еще в его кабинеты стучаться придется».

Однако подобные фразы вовсе не переполняли меня гордостью счастливого отца. Матери же Варфоломея (моей благоверной) они позволяли, проводив гостей, произнести с досадой, упреком и затаенной обидой: «Вот уж воистину похож! Похож как две капли воды! Не ребенок, а твоя копия!»

Произнести, лишь бы нашелся повод обвинить того, кто ни в чем не виноват, и не забыть при этом себя, воплощенную невинность.

Всему этому способствовало одно обстоятельство, хотя похожесть (или непохожесть), как уже отмечалось, была ни при чем. Здесь было важно другое, о чем говорить не хотелось, тем более после таких дифирамбов и восхвалений в адрес Варфоломея — вот женою и списывалось все на ту же случайно подвернувшуюся похожесть.

Мы тогда жили у Красных ворот, в квартире с длинным коридором и рядом раздвижных дверей (все по одну сторону), уподоблявшим ее вагону поезда. Нам ценою невероятных усилий, просьб и унижений перед директором удалось устроить Варфоломея в престижную, центровую школу. Он, повторюсь, хорошо учился, соображал и по математике, и по физике, с дурными компаниями не водился и даже однажды — по случаю Нового года — с успехом играл перед всеми собравшимися на пианино (наследственность сказывалась). Это пианино, некогда купленное мне родителями, я по настоянию жены принес в жертву. Конечно, было жалко с ним расставаться, но я привез его на грузовике, накрытое брезентом, привязанное канатами к борту, и торжественно подарил школе (грузчики внесли его в актовЫй зал под аплодисменты учителей и директора).

Это была наша маленькая победа, тем более что школа давно собиралась купить пианино, а денег на это вечно не хватало. Варфоломея стали хвалить, ставить ему высокие оценки (раньше вместо пятерок часто приносил четверки и тройки: учителя по негласному сговору снижали на один-два балла), и, казалось бы, все хорошо, можно только

радоваться. Но при этом радости у нас не было, поскольку Варфоломей обладал несчастным, изначально присущим ему роковым свойством — вечно попадать в трудные, даже безвыходные положения.

Мы подчас удивлялись, как ему это удастся, поскольку не раз бывало: все счастливы, на горизонте ни облачка, ничто не предвещает беды. И вдруг словно бы поворачивается невидимая стрелка, слышится звук, похожий на треск разрываемой материи, и нам приходится вызволять сына из неприятной истории, в которую он роковым образом попадает.

Кто-то из его класса украл деньги, собранные на летнюю поездку в Крым. Подозрение падает на него, потому что он как дежурный запирает дверь классной комнаты и относил ключи нянечке. Кто-то курит в туалете и жжет бумагу — у нашего Варфоломея находят распечатанную пачку сигарет и обгоревшие спички, после чего директор, вызвав нас к себе, произносит: «Мы для этого брали вашего сына? У нас своих хулиганов достаточно». И нам приходится оправдываться, умолять, обещать...

Во дворе кого-то угораздило разбить окно футбольным мячом, все разбежались, и на месте преступления застают нашего сына. Варфоломей при этом растерян и счастлив оттого, что он самый храбрый, не стал прятаться и готов взять вину на себя.

Мы, конечно, возвращали украденные деньги в школьную кассу и извинялись перед директором за сигареты и жженую бумагу. Мы же платили за разбитое стекло и, конечно, вдвое больше того, что брал стекольщик, чтобы вставить новое. Мы не роптали и не позволяли себе упрекнуть сына, но нам становилось обидно: почему же он все взваливает на нас, сам же даже не пытается найти выход и выпутаться из затруднительного положения?

Иногда мы даже осторожно, со всяческими деликатными оговорками задавали ему этот вопрос: «Неужели ты сам не можешь себе помочь? Или хотя бы попытаться?» И Варфоломей искренне недоумевал вместе с нами, беспомощно разводил руками: «Получается, что не могу. Или не хочу. А может быть, то и другое вместе».

Похоже, что он попросту не знал, как поступают в таких случаях, как находят выход и выпутываются.

Мы надеялись, что с возрастом он чему-то научится и положение изменится. Не тут-то было. Все продолжалось, как и раньше, — с той лишь разницей, что теперь нам приходилось вызволять его из милиции, куда он попадал по недоразумению, нелепому невезению

и фатальному стечению обстоятельств. Варфоломея не раз отчисляли из университета, а затем увольняли со службы (он носил на подпись ненужные бумаги в глупом министерстве) — по мнимой вине и нежеланию доказывать собственную невиновность.

IX

Словом, ничего не ладилось, и я невольно вспоминал, как когда-то в детстве у Варфоломея упрямо заваливался набок игрушечный самосвал, нагруженный кубиками, и они рассыпались по ковру — закатывались под диван, под буфет, некоторые неведомо куда, что и вовсе не найдешь.

Вот и вся его жизнь казалась мне теперь такими кубиками...

А тут еще начались девяностые годы, все зашаталось, стало оседать, оползать, словно талая наледь с крыши, распадаться и рушиться. И нам-то с женой выживать было трудно, мы не знали, что с нами будет завтра, а тут еще закрадывался панический страх за сына: совсем пропадет.

Вскоре он действительно остался без работы, причем, не будучи женатым, ждал рождения ребенка от женщины вдвое его старше, из подмосковного Одинцова, где у нее была изба, сарай, погреб и огороды. «На что вы будете жить?» — спрашивали мы сына, и он со знакомой блуждающей, оторопелой и блаженной улыбкой отвечал: «Как-нибудь выпутаемся. Тыкву буду выращивать и продавать на рынке. Или жареными семечками торговать».

От безысходности мы были бы рады, если бы Варфоломей и впрямь занялся огородом: хоть какой-то толк, какой-то заработок. На последние копейки, чудом уцелевшие после всех реформ, мы даже готовы были купить ему необходимый инвентарь: лопаты, ведра, грабли и даже маленький колесный трактор, если понадобится, лишь бы сын выбрался из этой ямы.

Время шло, но не наблюдалось ни малейшего признака, что он станет огородником и осуществит свое намерение — выращивать тыкву. Вместо этого сын увлекся совершенно фантастическим и нелепым проектом: создал и зарегистрировал не банк, не торговую марку, а коммерческое нечто, помогающее всем желающим выбираться из трудных, безвыходных положений.

Вот тут мы с женой — после горестных вздохов и сетований — вволю насмеялись, аж в висках заломило и слезы на глазах выступили. Очень уж забавная получалась петрушка. «Ты будешь помогать выбирать-ся? Ты сам за свою жизнь ни разу не выбрался, а тут станешь учить других?!» — спрашивали мы сквозь душившие нас приступы смеха.

Варфоломей терпеливо выдержал нашу петрушку и даже принес нам по стакану воды, поскольку затянувшийся смех превращался в икоту. После этого он безучастно и загадочно произнес, не глядя на меня, хотя и обращаясь ко мне: «Да, и ты хотя бы по шахматам должен знать, что лучший учитель тот, который сам играть почти не умеет и у всех проигрывает».

Варфоломей нашел себе компаньонов — таких же неустроенных, обремененных семьями и долгами. Надо было их видеть — взлохмаченных, небритых, диковатых, в выцветших тельняшках и баскетбольных кедах. Поначалу у них ничего не получалось: к ним никто не обращался за помощью. Само их *нечто* доверия не вызывало, расположенное сначала в бывшей трансформаторной будке, кое-как обклеенной обоями, с креслами и письменными столами, явно найденными на свалке. А затем — в подвале со штабелями досок, где ночевали бездомные коты и с шипением вырывался пар из обмотанных войлоком труб.

Но затем неведомо как что-то двинулось, тронулось, шевельнулось, вырывалось, словно пар из трубы. Появились — забрезжили — то ли первые клиенты, то ли пациенты, то ли просители. Словом, страдальцы тех самых девяностых, выброшенные на свалку, как старые кресла и столы. В безвыходном положении оказывались заводы, лаборатории, проектные бюро, колхозы, совхозы, библиотеки и кружки по интересам.

А также — светские дамы в мехах и драгоценностях (оставшихся на дне шкатулки), потерявшие мужей в тяжбах и склоках с их любовницами. И — бывшие начальники, лишившиеся должностей, кресел и преданных жен. Словом, Русь уходящая...

Они приносили последние сбережения, лишь бы им не то чтобы помогли, но пусть бы у них затеплилась хоть мнимая надежда, что жизнь еще не кончена, есть шанс что-то исправить, расчистить, вымести мусор, огородить, этак дотянуть до старости и сойти в могилу, как сходят в земляной погреб за квашеной капустой и солеными огурцами.

Вот так оно и вышло, что коммерческое нечто нашего сына процветало, открывались филиалы в других городах, а там и за границей зазвенел призывный звоночек.

Словом, ими заинтересовались и их сманили...

В конце концов сын и его компаньоны переселились за океан. Они помотались по Америке, присмотрелись, приценились и выбрали Калифорнию, откуда поступило самое выгодное и заманчивое предложение. Мы не знали, потеряли ли мы при этом сына или, наоборот, обрели, но теперь и нам выживать нам стало легче, поскольку мы перестали за него бояться. Да и Варфоломей писал, что у него все прекрасно, присылал фотографии своего особняка с подземным гаражом, аквамариновым бассейном и шафрановым теннисным кортом, уверял, что полюбил Америку и даже не скучает о России.

Не скучает, поскольку и ее привез с собой в багажных ящиках вместе со всем ненужным, лишним и необходимым.

Х

Чернокожая горничная в белом переднике поверх голубых, аккуратно продранных джинсов, улыбнувшись нам ослепительной, кофейного отлива улыбкой, с сожалением произнесла, что господина Варфоломея нет дома. Произнесла и посмотрела так, словно была готова пригласить нас войти, если услышанное от нее нам не помешает. Но мы отказались, не желая опережать события и предпочитая дожждаться сына, чье приглашение было бы для нас гораздо более желанным, ценным и приятным, чем любое другое, в том числе и исходящее от самой вышколенной прислуги.

Чтобы скоротать время, мы решили погулять по маленькому — не выше двух-трех этажей — городку и, может быть, даже пообедать, чтобы избавить Варфоломея от обязательства накрывать на стол и нас усердно потчевать. Расхаживая по улицам, мы благочестиво разглядывали вывески магазинов и маленьких ресторанов, делая вид, что вовсе не голодны, хотя и готовы из вежливости оценить достоинства местной кухни.

При этом мы несколько раз оборачивались, стараясь запомнить дорогу и исподволь следя за странной особой в старомодном темно-синем платье с оборками и набивными плечами, которая тенью нас сопровождала (если не преследовала), не приближаясь и не отдаляясь. Впрочем, старомодным ее платье назвать нельзя, поскольку оно было вне всякой моды и для Калифорнии — невиданным и экзотичным, словно праздничный наряд из перьев здешних индейцев.

В выбранном нами, наконец, ресторане она села позади нас, и, когда мы пообедали (аппетит был безнадежно испорчен) и подозревали официанта, чтобы поскорее расплатиться, оказалось, что по счету уже заплачено. Мы обернулись, чтобы выразить странной и эксцентричной особе свое недоумение, смешанное с неким подобием благодарности и признательности, но ее уже не было.

Она тотчас исчезла, словно не желая быть свидетелем нашей растерянности и замешательства...

Мы долго гадали, кто это мог быть, пока жена не высказала свою версию:

— По-моему, это та самая... из Одинцова. Жена нашего сына.

Я не возразил, но и не согласился — попросту ничего на это не ответил, хотя спустя некоторое время вынужден был признать, что жена права.

Когда мы вернулись, Варфоломей, не слушая горничную, пытавшуюся ему доложить, что недавние посетители прибыли снова, выбежал из дома нам навстречу. Он порывисто нас обнял, расцеловал, даже попробовал приподнять и закружить с такой радостью, что мы невольно расчувствовались, даже прослезились, и жена с легкой и деликатной запинкой произнесла:

— А мы прилетели тебя навестить. Может, мы не вовремя? Не совсем кстати? — Она, конечно, видела, что мы и вовремя, и кстати, но сочла нужным немного поцеремонничать.

Сын оставил ее вопрос без ответа, словно ответ мог быть только один и они оба его знали.

— Так вы вдвоем? Очень мило. Как много лет назад. Но как же вы прилетели, если у нас тут забастовка авиадиспетчеров и все рейсы отменены?

— А вот так... — Жена разрешила себе немного пококетничать и похвастаться, не раскрывая полностью своих карт. — На личном самолете, как уважающие себя родители преуспевающего сына.

Сын воздел руки к небу, воздавая должное тому, что нас не затрудняет выбор средств передвижения.

— Прощу в дом. — Широким жестом он словно бы разостлал перед нами невидимую ковровую дорожку, на которую мы не без боязни ступили.

— В самом деле, мы не предупредили... Может, мы вас стесним? Твои домашние не будут недовольны? — Жена все-таки хотела получить ответ на заданный чуть ранее вопрос.

— Ах, оставь! Какие разговоры! Прошу... прошу... — Сын вел нас по дому, открывая двери туда, куда следовало смотреть, и незаметно прикрывая туда, куда не следовало.

— Как твой мальчик? — Закрытая дверь дала повод жене спросить Варфоломея о его сыне.

— Он учится в Оксфорде. Боксер и голкипер студенческой команды. — Варфоломей показывал, что закрытая дверь может легко оказаться открытой. — Обещал на зимние каникулы нас навестить.

— Славно. А твоя жена? Ты нас познакомишь?

— Вы же знакомы... еще по Одинцову, — сказал Варфоломей, после чего возникла неловкая пауза: жене не слишком хотелось здесь в Калифорнии продолжать знакомства, возникшие еще в Одинцове.

— Ах, да! Но это было так давно, и обстановка сейчас... м-да... совсем другая... — пришел я на помощь своей жене, спрашивая ее взглядом, почему она так растерялась и не произносит того, что следовало произнести скорее ей, чем мне.

— Да, это было так давно... — заученно повторила жена с извиняющейся улыбкой.

— Клавдия Васильевна немного не здорова, но она к нам непременно выйдет.

— Прекрасно! — воскликнула жена, радуясь не столько тому, что Клавдия Васильевна выйдет, сколько тому, что она пока еще не выходит. — А твои апартаменты выглядят даже лучше, чем на фотографиях. Слава богу, что вы наконец избавились от той ужасной одинцовской избы с резными наличниками и геранью на подоконниках.

— Не совсем, не совсем... — При всем желании поддержать в нас чувство оптимизма, сын явно умалчивал о том, что могло стать для его родителей не слишком приятным сюрпризом.

В это время из-за угла коридора вышел рыжий кот с бандитским шрамом над глазом и, выгнув спину, стал тереться о мою ногу.

— А, понимаю! Вы взяли с собой из Одинцова кота — на новоселье! Таков обычай! — воскликнула жена, втайне радуясь, что ее ноги не удостоились столь же доверительного внимания сомнительного новосела.

XI

Варфоломея позвали на второй этаж, куда вела лестница, усыпанная свежими стружками, опилками и всем своим видом противоречившая respectable обстановке особняка. За дверью — там наверху — было шумно, многолюдно, слышались чьи-то возгласы, надсадный прокуренный кашель, отзывавшиеся эхом крики, скрип передвигаемой мебели, стук молотка и явно происходило нечто, требовавшее присутствия нашего сына.

Поэтому, извинившись, он с упреждающими жестами, призванными заверить, что его отсутствие не будет долгим, нас покинул.

Горничная тотчас приблизилась к нам из глубины коридора и заулыбалась, готовая его заменить и оказать нам необходимые услуги.

Но в это время распахнулась одна из тех дверей, куда нам не следовало заглядывать. Оттуда высунулась и тотчас скрылась взлохмаченная голова, словно наше присутствие вынуждало вспомнить о расческе, и чей-то голос нас тихонько, певуче позвал:

— Миленькие, сюды, сюды...

Мы засомневались, нас ли это зовут, и с удивлением посмотрели на горничную, ожидая от нее объяснений. Но она обреченно вздохнула и приняла позу, показывающую, что этот вздох может быть ее единственным объяснением, об остальном же нам надлежит узнать самим.

Иными словами, раз зовут, надо идти, хотя было бы гораздо лучше, если б не звали.

Мы нерешительно заглянули в комнату и тотчас отпрянули, обменявшись взглядами, еще более красноречивыми, чем слова. Взгляд жены можно было истолковать так: «Ну, что я говорила!» Мой же взгляд означал: «Да, ты была права».

Перед нами с умильно-сладким выражением на лице стояла та самая особа, которая нас недавно преследовала и оплатила наш счет в ресторане. Она была в том же длинном платье с оборками, какие в Калифорнии отродясь не носили, и незашнурованных ботинках, похожих на армейские берцы, простоволосая, в спущенном на плечи домотканом платке.

В руке она держала маленькое круглое зеркальце и, слюнявя палец, приглаживала непокорную, выбившуюся прядку полуседых волос. Заметив, как мы переглянулись при виде ее одежды, сказала:

— Вот донашиваю все старое — оно мне помогает. Похоже, что и вам, однако... — Она скользнула взглядом по моему костюму, как опытный портной на примерке, и произнесла: — Избу он вам сейчас покажет.

— Какую избу?

— Ту самую, бревенчатую. Здесь она, изба-то. И наличники, и герань на подоконнике, и даже погреб, в котором нас похоронят, — здесь, здесь. — Она засмеялась тихим, счастливым, воркующим смехом.

— Простите, а вы... из Одинцова? — в один голос спросили мы с женой.

— А откуда ж еще? Из Одинцова родимого — вот и тоскуй теперь о нем, вспоминай, кручинься, что вывезли, но обратно все равно не вернут.

— Почему же? Если хотите, мы за вас попросим.

— А потому, — ответила она так, как будто это слово не нужно было ни в каких добавлениях, но все же добавила: — А потому, что отрезано... Вот платье на мне — единственное, что осталось. Да и вас мне жаль, родненьких, что по свету мотаетесь, носит вас, как и меня. Что твои паутинки в воздухе...

Жена сочувственно улыбнулась ей, что можно было истолковать как благодарность за такую искреннюю жалость, хотя мы в ней и не нуждались, и вспомнила про долг.

— Разрешите мы вам долг вернем. За ресторан.

— Э, милая... Брось. Не мельчи. Вы как сюда прибыли-то?

— Как и все. На самолете.

— Самолеты ж не летают.

— А мы прилетели еще до забастовки, долго жили в гостинице.

— А гостиница у нас полгода как закрыта. Но, может, вы такие важные гости, что для вас и открыли, а?

— Да, да, хозяйка была так любезна... — поторопилась заверить жена.

— Только не хозяйка, а хозяин, бывший повар на адмиральском флагмане, — поправила женщина, осторожно внушая, что, несмотря на наше отчаянное вранье она по долгу гостеприимства всему так же отчаянно верит.

XII

Когда шум на втором этаже затих, нас туда позвали — не сам Варфоломей, но кто-то явно по его просьбе. Мы поднялись по крутой деревянной лестнице, толкнули дверь и оказались... в избе. В избе

с бревенчатыми стенами, геранью на подоконниках и русской печью, уставленной сковородами, чугунами и горшками. Пол был чисто выметен, хотя в углу оставались стружки и опилки — свидетельство того, что изба обновлялась и расширялась.

— Боже мой, что это такое?! — Жена зажмурилась, а затем открыла глаза, удивляясь тому, что увиденное не исчезло, словно мираж. — Что вы тут нагородили! Зачем это здесь?!

Варфоломей задумался над тем, как бы не сказать лишнего и в то же время выразиться так, чтобы сказанного оказалось достаточно и мы его хотя бы отчасти поняли.

— Я не буду читать вам лекцию, но, видишь ли, мы распространяем здесь в Калифорнии русский дух, знакомим с нашим народным бытом, традиционным образом жизни, нравами, обычаями... Это расширяет кругозор американцев, слишком ограниченный и зауженный. Кроме того, это помогает здешним жителям выбираться из трудных положений — ловушек, которые они сами себе устроили.

— Изба помогает — каким же образом? — Своим вопросом жена показывала, что каким бы образом изба ни помогала, она все равно останется для нее избой. — Извини, но это смешно.

— Напрасно ты так. — Варфоломей стерпел насмешку, как готов был все терпеть от матери. — Помогает не столько изба, сколько сам принцип ограничения своих потребностей, аскетизма, возвращения к истокам.

— И что же — американцы соглашаются жить в твоей избе?

— У меня не одна изба, а пятьдесят — по числу американских штатов. И американцы охотно соглашаются и подолгу живут. Из-за этого даже пришлось закрыть здешнюю гостиницу, поскольку номера в ней теперь не пользуются спросом.

— Ах, вот оно что! Чудеса! — не выдержал я. — И чем же они тут занимаются, твои постояльцы?

— Отсюда есть выход во двор, в яблоневый сад, к реке, капустным грядкам и пчелиным ульям. Одно это заставляет их забыть бессмысленную погоню за миражами — прибылью, успехом, ожорством, богатством — и довольствоваться лишь самым необходимым. Они занимаются простым крестьянским трудом: возделывают огород, боронят поле, рубят дрова. И не стесняются вспотеть от затраченных усилий. А в доме они топят печь, варят щи в горшках. Усердно читают жития святых, даже молятся на иконы в красном углу. Это постепен-

но меняет их взгляды на жизнь, на окружающий мир, на самих себя. Американцы ведь слишком оскудели духом. Они утратили интерес к истории, географии и прочим наукам. Они не знают, кто такой Ганнибал, Тамерлан, Конфуций, Махатма Ганди. Не знают, где находится Остров святой Елены и кто туда был сослан.

— И ради того, чтобы их спасти, ты им прививаешь изъяной дух?

— Повторяю, что важна не изба, а самоограничение.

— И у тебя есть примеры усвоения твоих уроков?

— Да, целые колонии здесь в Калифорнии сменили свои особняки на избы, отказались от покупок и перешли на подсобное натуральное хозяйство: все производят и готовят сами.

— А как на это смотрят власти и полиция?

— Пока терпят.

— И не угрожают?

— Они лишь ставят условие, чтобы мы не ругали членов Конгресса.

— А вы?

— Пока выкручиваемся.

— Но все-таки ругаете?

— Скорее мягко поругиваем и критикуем.

— А не хотите ли вы с помощью избы... завоевать Америку? — спросил я так, словно за всем высказанным Варфоломеем могло скрываться и что-то не высказанное, но неким образом различимое в его словах.

— Да зачем она нам, — ответил он, и различимое стало, хотя и высказанным, но при этом совершенно затуманенным и неразличимым.

Мы пробыли у Варфоломея три дня, и он нам еще многое рассказал и во многом нас убедил. Вернулись мы домой тем же способом, каким пожаловали к нему в гости. Теперь мы могли быть спокойны. Изъяной дух оказывал свое целебное воздействие. Америка была спасена.

Правда, это была уже не Америка...

XIII

В первый, еще по-летнему отдающий ландышевой прохладой понедельник сентября, когда я, верный своей причуде, оделся соответственно этому дню недели, мне посчастливилось встретить моего однокурсника и старого друга Женю Айдагулова. Вообще-то он был Джангиром, но все его звали Женей (восточное имя ему как-то не

шло), а за глаза величали по присвоенному ему прозвищу — Айда Гулять.

Он родился в Москве, на Якиманке. Его предки служили под знаменами, покоряя Кавказ, и лежали в Москве на Ваганькове. И он считал себя русским, даже немного славянофильствовал, отстаивал патриотические идеи и убеждения. Вопреки этому у него было второе прозвище — Бай, поскольку в нем проглядывало и нечто восточное, властное, с хитрецей. Во всяком случае, держался он просто, но и при этом — надменно, с высокомерным холодком и не допускал принятого у нас студенческого панибратства.

Вот его-то мне и посчастливилось встретить после долгих лет разлуки.

Говорю — посчастливилось, поскольку я считал Женю своим лучшим другом, хотя никогда ему в этом не признавался, — во-первых, от свойственной мне тогда возрастной застенчивости, а во-вторых, как-то не был уверен, что и я для него лучший друг. Помимо меня он, несмотря на свое высокомерие, дружил со многими, был даже несколько неразборчив в дружбе (может быть, напоказ). И мне с моими признаниями не хотелось переусердствовать и показаться навязчивым, тем более что я не раз был свидетелем того, как он досадливо (почти гадливо) морщился, когда другие пытались ему внушить, что он для них лучший, единственный.

Я обещал себе, что никогда не уподоблюсь этим другим и не позволю себе так унизиться, хотя и моя сдержанность меня отнюдь не возвышала. Я не чувствовал себя полноправным другом Жени, чей призыв: «Айда гулять!» — никогда не встречал бы отказа. Я мечтал о полной откровенности, и меня не удовлетворяло положение, когда каждый чего-то не договаривал до конца. О чем я не договаривал, мне было ясно, но что оставалось невыговоренным у него, я мог только догадываться, и это меня мучило и тревожило.

Наверное, поэтому мы и расстались, долгое время не виделись и даже не перезванивались. И вот неожиданная встреча в нотном магазине, куда я по привычке заглянул. Мне хотелось, как всегда, перемолвиться словечком со стариком Малером и перелистать нотные новинки, Женя же больше поглядывал на сантехнику, из чего я сделал вывод, что ему понадобились новый итальянский смеситель, фаянсовая небесно-голубая раковина, бачок для унитаза, достойный Версаля (иногда я позволяю себе немного сарказма) или нечто в этом роде.

Но, к моему удивлению, он направился прямехонько в сторону нотного прилавка.

Мы поздоровались, как и положено обнялись (распахнули друг другу объятия), воскликнули: «Сколько лет, сколько зим!» Ну, и прочее, полагающееся по этикету встречи бывших однокашников. После этого, цепко и пристально меня оглядев, он произнес:

— Изысканно старомоден! Благородно консервативен! А тебе идет!

— Донашиваю тряпье.

— По бедности или соображениям идейным? Бросаешь вызов новой буржуазии? Одобряю.

— Вызовы я чаще бросаю врачам. Когда не могу доковылять до поликлиники, вызываю их на дом.

— Шутник. — Он легко уступил мне преимущество в том, в чем и не думал со мной соперничать. — Помню, какие ты стишки сочинял... А, знаешь, меня тоже потянуло на старые одежды. Сам не знаю с чего, но потянуло. Даже странно: я ведь вообще-то тряпье не люблю. Но, наверное, тут есть некая предопределенность. — У него вырвался нервный смешок, и он нехорошо улыбнулся. — Сегодня, представь себе, выбираю галстук у зеркала и думаю: «Дай-ка я повяжу самый старый, еще студенческих времен». Шальная такая мыслишка пробежала. И — повязал. Вот посмотри... ты оценишь. — Он расстегнул пиджак и показал мне галстук, чтобы я мог оценить.

Мне пришлось со значением кивнуть и произнести:

— С ним ты моложе на тридцать лет.

— Ну, уж ты брось. Нам ли с тобой молодиться. Я о другом. И мой галстук, и твои старые одежды — это не случайно. Раз уж ты и я сегодня встретились и так совпали, мы должны это неким образом обозначить. Я предлагаю... — Он ждал, что первым предложу я и, конечно же, окажусь в проигрыше.

— Выпить за встречу?

— Нет, дорогой мой. Напиться — это было бы слишком мелко, банально, не по-рыцарски. А ведь мы рыцари, черт возьми. На всем нашем курсе лишь мы одни... Поэтому я предлагаю по такому случаю набраться храбрости и рискнуть — удариться в откровенность и друг другу признаться. Признаться в чем-то таком, в чем раньше мы никогда не признавались. Не показывали, прятали, скрывали, таили в себе. Лишь иногда каждый из нас лишь позволял себе намекнуть — жестом, случайно оброненным словечком. И тотчас же — цоп! — словечко-то

и взято назад. «Ты что-то сказал?» — «Нет, нет, ничего. Тебе послышалось». И нет никакого намека, никакого словечка. Ну что, согласен? Не побоишься?

— Пожалуй. Хотя лучше было бы напиться...

— Это почему же?

— В главном все равно не признаемся.

— Ну, это кто как... Каждый пусть ручается за себя. Я вот готов поклясться, что признаюсь. С такой-то петлей на шее, как сегодняшний галстук, — уж точно.

— Тогда и я.

— Что ж, признавайся...

— Я мечтал, чтобы ты был мне лучшим другом, — промямлил я виновато, стыдливо, с опаской.

Промямлил и почувствовал желание тотчас отказаться от своих слов.

— А я всегда был твоим тайным врагом, — произнес он с вызовом, означавшим, что он от этих слов никогда не откажется.

XIV

Старик Малер никогда не позволил бы себе прислушиваться к нашему разговору: он был иначе воспитан и вполне мог упрекнуть нас, что мы — против всяких правил — вводим его в соблазн. Иными словами, не считаясь с его присутствием, пускаемся в откровенности, тогда как лучше — да и намного деликатней с нашей стороны — было бы обойтись без свидетелей.

Из этого следует, что о содержании разговора он догадывался по нашим жестам, выражению лиц и отдельным долетавшим до него фразам. Они-то и убедили его, что нас лучше оставить вдвоем. Лучше — поскольку иначе пребывание старика Малера вблизи от нас, чего доброго, даст повод заподозрить его в том, что он все-таки прислушивается (подслушивает), хотя всячески делает вид, будто все пропускает мимо ушей.

Поэтому, дождавшись паузы в разговоре, он кашлянул, привлекая наше внимание, и сказал, что ненадолго отлучится — пообедать у знакомого грузина. Нас же попросил не покидать его закутка и присмотреть за нотами. Конечно, они никому не нужны, но мало ли что...

Мы, разумеется, с энтузиазмом пообещали — клятвенно заверили, что присмотрим. И старик Малер удалился, оставив нас вдвоем, после чего я тоже прокашлялся (дурной пример заразителен) и произнес с показным безразличием:

— Тайный враг, ты должен был мне вредить, как я понимаю...

Я смахнул с себя пылинку, словно она была единственным свидетельством того, что мне чем-то навредили.

— А я и вредил... Неужели ты был в таком восторге от нашей дружбы и настолько слеп, что не замечал? Из-за кого тебя лишили стипендии, не послали на практику, даже хотели отчислить?

— Неужели из-за тебя? — Задавая этот вопрос, я словно бы спрашивал, как мне смотреть на Женю, если он ответит утвердительно.

— Тут была длинная цепочка, но ее первое звено... слуга покорный. — Он тронул галстук, щелкнул каблуками и слегка обозначил поклон.

— И это несмотря на нашу дружбу?

— В этом-то весь смак: быть явным другом и — тайным врагом. Вражда без дружбы — это банально, пошло, лишено терпкости, как прокисшее вино. Так же, как и дружба без вражды...

— По части вина ты у нас был знаток...

— Не был, а считался или казался, уж как кому нравится, знатоком же был ты.

— Да я и не разбирался в винах. С чего ты взял?

— Э, нет, братец. Разбираться ты, может, и не разбирался, но всегда попадал в десятку. Помнишь, какое вино ты принес на день рождения красавицы Барсовой? Мое сразу показалось кислятиной, и красавица Барсова первым танцевала с тобой.

— А целовался с ней ты...

— Причем, так, чтобы ты это видел. Мне хотелось, чтобы ты ревновал. Уж прости, но писателям, то бишь *поэтам*, — произнес он так, будто это слово внушало ему особое почтение, — хочется славы, а мне хотелось ревности.

— Но ты все-таки женился на Барсовой...

— Женился. Но она всегда просила купить или как-то раздобыть то вино, которое однажды принес ты. Мне это надоело, и мы разошлись.

— А почему ты заговорил о поэтах. Это намек? — спросил я, словно в этот момент ничто мне не могло мне так наскучить, как намеки.

— Слава богу, эту породу наконец извели, — заговорил он так, словно не слышал моего вопроса. — Нет больше поэтов, да и вообще

писателей. Нетути. Вместо них теперь — ПИПы, персональные издательские проекты. А то, бывало, им почет, уважение, всенародная слава, и они — властители дум. Не подступись. Теперь же они присмирели. Прикусили язык. Знают: если рыпнешься, станешь нетронутую природу защищать, протестовать против вилл и усадеб, понатыканных в заповедных лесах, их сразу осадят: «Сиди и помалкивай, ПИП».

— Это намек?

— Ну, что ты заладил. Конечно, намек. На тебя с твоими виршами. — Его взгляд мне что-то напоминал, о чем я, может быть, охотно и вспомнил бы, но только не сейчас и не здесь: взгляд был если не с угрозой, то с упреком, нехороший, недобрый взгляд.

— Да, это все студенческое, баловство, черный юмор. — Я на всякий случай заручился готовностью оправдаться.

— Баловство-то баловство, но уж больно хлестко. — Женя в отличие от меня не был готов принять мои оправдания. — Весь курс смеялся. Покатывались со смеху, как в цирке. Главное, каково название — «Стихи о хорошем человеке». И кто же этот хороший человек, позвольте спросить? А этот хороший человек — я, собственной персоной. Весь вечер на манеже, так сказать. Вот пример приведу, уж ты позволь. Я ведь наизусть помню. Ты в своих «Стихах о хорошем человеке» пишешь:

*Я стоял за утренней молитвой,
Устремляя взор свой к образам.
Ты вошел и полоснул мне бритвой —
Полоснул мне бритвой по глазам.*

*Был мне голос во сне: «Стань мне ближе.
Я твой верный, единственный друг».
Я проснулся и с ужасом вижу:
На груди моей дремлет паук.*

— Это я, стало быть, и есть тот паучок. На груди у тебя вздремнул. А вот еще пример:

*Бил ногами.
И с разбитой мордой
Меня бросил подыхать в кювете,
Самый сильный,*

*Самый умный,
Самый гордый —
Самый лучший человек на свете.*

— Прости. Дело прошлое...

— Прощаю. Я тоже пробовал сочинить в таком же духе. Срифмовать иногда удавалось, но духа — не было. Поэтому я так и остался хорошим человеком, зато ты — поэтом. Кого ни спросишь: «Помнишь Бориса Ралдугина?» — он ответит: «А, этот наш поэт...»

— Зато ты у нас был славянофилом. Тебя уважали больше.

— В своем славянофильстве я был автодидакт. Все это у меня было сопряжено с волевым усилием. Попросту говоря, натужно. Славянофил Джангир Айдагулов, ха-ха. Со смеху помрешь. Ты же просто любил закаты над Яузой, осень в Лефортове, зиму на Патриарших... А я это не понимал. Аксаковых, Киреевских понимал, а это... это мне это не давалось, как высшая математика.

— Сколько раз я тебя звал и в Лефортово, и на Патриаршие.

— За это я тебя и ненавидел. Уж прости, но лучше бы ты не звал. А то какое великодушие! Какое благородство! И никакого цинизма — даже противно... — Он брезгливо сморщился, показывая, как ему противно все то, в чем не было цинизма.

— Ну, спасибо... — Я что-то взял с прилавка и тотчас положил на место.

— Не благодари. — Он посмотрел на меня с холодной снисходительностью. — Я тебя должен благодарить за то, что сегодня высказался. Ты снял камень с моей души. Ну, а теперь ты во всем признавайся. Твоя очередь.

Женя выжидательно сложил на груди руки. Я обернулся, словно он ждал чего-то не от меня, а от кого-то другого, стоявшего за моей спиной.

— А мне признаваться-то больше и не в чем. Я тебе все сказал. А мои вирши — тоже, наверное, от ревности. Я ревновал тебя ко всем, с кем ты дружил, и мечтал стать для тебя единственным другом, — сказал я куда-то назад, за собственную спину.

— Вот мы оба и признались. — Его взгляд показывал, что за спиной у него тоже что-то есть. — Может, лучше было не признаваться?

Мы хотели уже разойтись, но вспомнили, что надо дожидаться старика Малера. Вспомнили и — разошлись (он должен был вернуться с минуты на минуту).

XV

Последний понедельник сентября выдался пасмурный, рыхлый, туманный, словно подсвеченный с обратной стороны облаков желтой настольной лампой, то стелющийся от ветра волоконцами мелкого дождя, то покальывающий косыми иголками. Я снова оделся... скажем так, *по сценарию*. Иными словами, мне был предписан некий образ действий, и предписан не мной, а великим сценаристом. Или даже — Сценаристом (каждый волен понимать под этим, что ему угодно).

Итак, оделся и вышел из дома с предчувствием, что непременно кого-нибудь встречу. Бывают такие предчувствия, собственно, ни на чем не основанные: кого-нибудь... непременно... Кто это мог быть, я, разумеется, не знал и даже не пытался строить предположения, словно в этом заключалась бы попытка обмануть случай.

Случай же всемогущ, и его не обманешь, не предугадаешь, чем он обернется, какую личину примет, какую рожицу тебе покажет. Поэтому я просто гулял (шталался) по старой Москве (раз одежда старая, то и Москва — соответственно) и ждал.

Но мне никто не встречался.

Тогда я в отместку стал думать, что случай меня обманывает. В конце концов, он имеет на это полное право, оставаясь при этом случаем, и нельзя ему пенять. Так я себя убеждал. И все-таки неприятно было чувствовать себя обманутым. Из-за этого чувства я стал пытаться неким образом воздействовать на случай, понуждать его к тому, чтобы он себя проявил, высунулся из окопчика (а то окопался, видите ли), выманить, создавать для него благоприятные условия.

Словом, всячески его ублажал, улещивал, прикармливал, будто жирного сома под трухлявой корягой.

Ради этого прикорма я посетил знакомые места, где раньше встречал многих друзей, приятелей (и приятельниц): университетский дворик, Александровский сад, Чистые пруды, Яузский бульвар. Никого. Я готов был возмутиться и вознегодовать, и вдруг там, где Яузский бульвар переходит в Покровский, случай, похоже, снизошел ко мне.

Вдали показалась некая фигура. Словно сотканная из туманной дымки, она пошатывалась на ветру, переламывалась пополам, меняла очертания, то удлинялась, то укорачивалась, то сминалась, то разглаживалась.

Когда туман разошелся, я увидел господина, безукоризненно, хотя и старомодно одетого, в плаще, застегнутом под самым горлом (цепочка продета сквозь пасть медного льва), в широкополой шляпе, чем-то похожего на графа Сен-Жермена, каким я себе его представлял, pilota Нестерова, первым сделавшего мертвую петлю, или гроссмейстера Таля.

Я заинтересовался, даже слегка привстал от любопытства, стараясь не показаться нескромным, и вдруг узнал в нем... СЕБЯ.

Да, не кого-то похожего на меня, не моего двойника, в конце концов, а себя самого. Себя! Я смутился, растерялся, замер от изумления. Почему-то заговорить с собой было труднее, чем с незнакомым человеком. Но я попытался преодолеть охвативший меня страх и — заговорил:

— Извините, вы — это я?

Столь хорошо знакомый мне незнакомец ответил слегка грубовато, насмешливо, что, впрочем, не лишало его фламандского добродушия:

— Ну, а кто же еще! Что ж, ты, любезный, себя не узнаешь?

Тут я зачем-то стал оправдываться, пустился в ненужные объяснения:

— Нет, вы не подумайте, я сразу узнал, но — засомневался. Все-таки нечасто встречаешь на бульваре самого себя.

Знакомый мне незнакомец едва заметно зевнул и с усилием подавил зевок.

— Хм... Апостол Петр тоже засомневался и, как известно, стал тонуть. Да и ты сам, когда летал вместе с любящей тебя женой, из-за своих сомнений чуть было не сверзился вниз. Ты этого хочешь?

— Нет, нет, что вы?! — Я попытался заверить его, что не испытываю никакого желания утонуть и сверзиться. — Разрешите еще вопрос. А для чего, собственно, вы мне явились? Может быть, я скоро умру?

— Не беспокойся. Лет десять еще протянешь. Гарантирую. Твой же приятель Джангир Айдагулов тебя не раз вразумлял: «До семидесяти пяти ничего не бойся». Тебе же как раз шестьдесят пять.

— Тогда для чего же?

— Явился-то? Чтобы ты на себя посмотрел. Себя узрел, так сказать.

— Только для этого? Я и в зеркало на себя могу посмотреть.

Мой незнакомец собрал у носа морщины, словно собираясь то ли чихнуть, то ли презрительно фыркнуть.

— Нет, причем тут зеркало. Посмотрел внутренним взором.

— А-а-а... — протянул я так, как будто мне все стало понятно.

— Вот тебе и а-а-а. Посмотрел? — Он отвел мне некоторое время на внимательный просмотр. — И что же ты в себе видишь?

— Если откровенно... — Я не был уверен, что откровенность меня не скомпрометирует.

— Валяй откровенно. Напрямую. Что тут жеманиться.

— Если откровенно, то свалку мусора.

— Вот! Молодец, что признался. Человечек ты и впрямь так себе, дрянцо помойное, хотя на твое счастье музыка тебя спасает.

— А ты что — лучше?

— Не лучше и не хуже. Я во всем тебе подобен. И мое спасение — в тебе одном. Поэтому мой тебе совет. Теперь начни этот мусор в себе разгребать. Как когда-то на даче опавшие листья — грабельками... раз-раз...

— А может, поджечь, чтобы разом сгорело?

— Нет, будет дымить, и дым этот очень едкий, смердящий, от него глаза слезятся. Лучше потихоньку, не сразу. И так, чтобы никто не догадывался. Не надо бить себя в грудь: я, мол, такой хороший. Мусор в себе разгребая. Не надо громких заявлений о твоих благих намерениях. А то мусор весь выметишь, а *они* и вселятся. Они любят все чистое.

— Кто это *они*?

— Ну, есть тут одни заинтересованные товарищи.

— Ладно, учту. — Я не стал уточнять, кто намерен в меня вселиться, а решил выяснить для себя нечто иное. — С мусором внутри меня постараюсь покончить. А вовне? От чего-то мне тоже следует избавиться? Выбросить вон? В мусор?

— Это твое новое тряпье, что ты недавно купил. В мусор.

— А книги?

— Новые? Только что с прилавка? В мусор. Старые же сохрани. Они — настоящие.

— А ноты?

— С нотами подожди. До особого указания. Впрочем, одно указание ты получил от Мориса Равеля. Так следуй ему — учи программу. И начни непременно с вальсов — благородных и сентиментальных. Они ведь написаны для тебя. — Слишком хорошо знакомый мне незнакомец снова стал то сминаться, то разглаживаться, явно собираясь меня покинуть. — Ну, вот и все. Теперь прощай. Я тебе, кажется, все сказал.

— А шахматы? — выдохнул я напоследок.

— Сохрани. Поигрывай иногда. Ведь ты у нас Михаил Таль. Только если будешь снова летать, мертвую петлю не делай. Слишком рискованно, знаешь. Ни к чему.

После этих слов он стал удаляться, приподнялся над землей, повисел в воздухе и — воспарил.

Воспарил, как и я мечтал когда-то...

